

Князь
**СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ**



РУССКИЙ АРИСТОКРАТ И ФИЛОСОФ,
УЧАСТНИК АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
ВЫСЛАННЫЙ СОВЕТСКИМИ
ВЛАСТЯМИ ИЗ СТРАНЫ



{ МИНУВШЕЕ }

ГЛУБОКО ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ,
С БЕСПРИСТРАСТНОСТЬЮ ДОКУМЕНТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ
О БЕЗВОЗВРАТНО УШЕДШЕЙ ЦАРСКОЙ ЭПОХЕ
И РЕВОЛЮЦИОННОМ ЛИХОЛЕТЬЕ

Сергей Трубецкой

**Минувшее. Глубоко
личные воспоминания, с
беспристрастностью документа
свидетельствующие о
безвозвратно ушедшей царской
эпохе и революционном лихолетье**

1933-1944

УДК 929
ББК 63.3(2)6-8

Трубецкой С. Е.

Минувшее. Глубоко личные воспоминания, с беспристрастностью документа свидетельствующие о безвозвратно ушедшей царской эпохе и революционном лихолетье / С. Е. Трубецкой — 1933-1944

ISBN 978-5-9524-6709-5

Мемуары князя С.Е. Трубецкого (1890—1949) — это ценный исторический документ, в котором наряду с личными воспоминаниями о детстве, жизни в княжеской усадьбе на одной из тихих улиц старой Москвы запечатлены ключевые события первой трети XX века: череда войн и революций, отречение государя и гибель империи. Особый интерес представляют главы, посвященные службе Трубецкого на санитарном поезде в годы Первой мировой войны, а также рассказ об участии в политическом заговоре и высылке из Советской России на «философском пароходе» после двух лет тюремного заключения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 929
ББК 63.3(2)6-8

ISBN 978-5-9524-6709-5

© Трубецкой С. Е., 1933-1944

Содержание

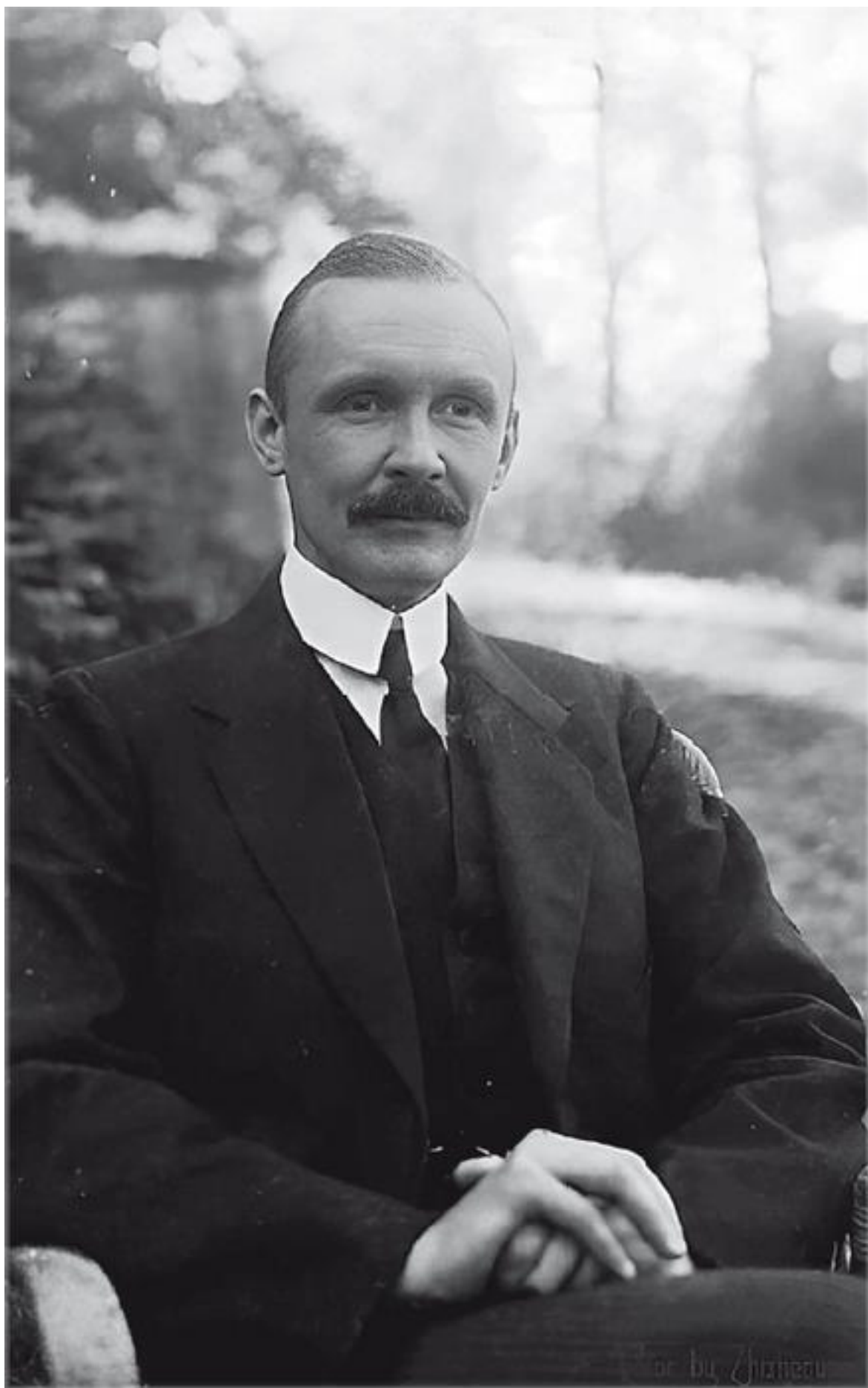
Часть первая	7
Детство	7
Наше воспитание	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Сергей Трубецкой
Минувшее. Глубоко личные
воспоминания, с беспристрастностью
документа свидетельствующие о
безвозвратно ушедшей царской
эпохе и революционном лихолетье



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2026



Часть первая

Детство

Я родился 14 февраля 1890 года (по старому стилю) в Москве, в доме моего деда с материнской стороны, князя А.А. Щербатова, на Большой Никитской, № 54.

Родился я в «приемный день» моей бабушки, княгини М.И. Щербатовой, но, конечно, по случаю моего рождения прием был отменен.

По тогдашним обычаям, в великосветских домах швейцар вел книгу посетителей. В день моего рождения страница книги осталась пустая. Но дворецкий Осип приказал швейцару единственным посетителем записать *меня* – полным моим именем – и в графе адреса записать «здесь». Впоследствии я сам видел эту запись в огромной, переплетенной книге. Этот поступок был типичен для Осипа: он любил порядок, форму и церемониал. Через несколько дней после моего рождения мой дед показал меня Осипу и спросил, на кого я похож. «Лоб *наш*, – отвечал он, – об остальном не могу доложить вашему сиятельству». «*Наши*» – означал щербатовский: Осип, как и многие старые слуги того времени, чувствовал себя заодно со своими господами – «своей фамилией», как говорил он.

Мой отец говаривал, что наше детство и детство его поколения не так уж различны между собой. Совсем другое дело, говорил он, детство его родителей (моих дедов) и детство его собственного поколения: между ними легла резкая черта – уничтожение крепостного права.

Между моим поколением и поколением моих детей прошла другая, несравненно более глубокая черта – большевицкая революция.

Уничтожение крепостного права, разумеется, очень глубоко отразилось на той аристократической помещичьей среде, к которой принадлежали все наши деды и прадеды, как с отцовской, так и с материнской стороны. Однако ломка жизненных условий была тогда относительной: тут была эволюция, а не революция. Старое отживало и постепенно уходило, а не рухнуло так, как это случилось на нашей памяти.

Существенные рамки жизни нескольких поколений наших предков оставались в общих чертах теми же. Атмосфера, в которой они жили, – атмосфера героев «Войны и мира» – кажется мне лично и многим людям моего круга и поколения донельзя родной и близкой. Другое дело атмосфера жизни наших предков Петровской эпохи, а тем более допетровской, или даже домосковского времени. Эти эпохи для нас уже не живы: мы можем их знать, но не можем уже их полностью чувствовать. Вряд ли разрыв между жизнью нашей и наших детей меньше, чем разрыв между нами и Петровской эпохой. Несколько уменьшает этот разрыв лишь возможность живого общения нового поколения с поколением нашим, жизненными корнями своими уходящим в «потонувший мир». Я принадлежу к последнему поколению, знавшему лично помещиков и крестьян, живших в эпоху крепостного права. Хотя эта личная связь была у меня лишь в детские годы, она позволяет мне не только понимать, но и переживать тогдашнее время. Однако этой связи с прошлым мы нашим детям уже не можем передать: близкое и живое для меня время моих дедов – для них уже перешло в сухую Историю... Теперь, дай Бог, чтобы наши дети хотя бы отчасти, но живо, почувствовали столь близкое и вместе с тем столь далекое время нашего детства.

1894 год. Мне четыре года, брату Саше – два. Мы сидим на диване в «проходной детской» нашего киевского дома. Няня и подняня одевают нас на прогулку. Вдруг входит мамá, и мы видим, что она чем-то взволнована. Она говорит, что государь умер (Александр III). В комнату входят люди («люди», вот тоже слово, чуждое новому поколению!) – Иван, Митрофан, Анета,

кто-то еще... все крестятся, все глубоко переживают... «Царь умер», – повторяю я, и на меня это производит впечатление не меньшее, чем если бы упала часть неба... «Теперь все будет не так, как прежде, все переменится, – думаю я (хотя и не понимаю, что именно переменится), – и, уж конечно, мы не пойдем сегодня гулять...» Но в этом я ошибся: гулять нас повели, и я ясно помню ощущение в городе какой-то торжественной придавленности: все переживали событие, и это живо передавалось моей детской душе. На рукавах офицеров начали появляться черные траурные повязки, а афишные столбы заклеивали белой бумагой. Это произвело на меня большое впечатление. «Да, теперь, должно быть, все будет только белое или черное, – думаю я. – Царь умер; что теперь будет с нами, с Киевом, с Нарой, с Россией?» Это было детское, но очень глубокое патриотическое и монархическое переживание, – переживание личное, но в то же время – коллективное. Россия была еще тогда глубоко монархична, и это личное переживание дало мне в дальнейшем не только понять, но и почувствовать дух многих рассказов людей поколения моих дедов, с их, ничем не затронутым, цельным и органическим монархическим мирозерцанием.

Помню, как тогда наш лакей Иван, бывший обычно не в ладах с няней, проникновенно говорил с нею о смерти государя... А десяток лет спустя тот же Иван, узнав о революции в Китае, восторженно произнес: «Там теперь республика, то-то народ блаженствует!»

Надо признать, что не революция подорвала в русском народе его монархический дух: дух этот хирел уже раньше и тем самым создал самую возможность революции. Уже десять лет спустя после смерти императора Александра III дух русского народа был не тот, который я ощутил и пережил тогда ребенком. При этом монархическое чувство хирело не только у тех, кто был задет революционной пропагандой. Я сам, будучи принципиальным монархистом, с огорчением не ощутил в себе живого монархического чувства при торжественном выходе государя в Москве, в начале войны 1914 года. В том же признавались мне и другие убежденные монархисты, например Сережа Мансуров, а потом, уже в большевицкой тюрьме, А.Д. Самарин и другие...

Да что говорить о детских проявлениях монархического чувства, если наши чувства к родителям, самый дух наших семей ощущался тогда иначе.

Отец и мать, деды и бабки были для нас в детстве не только источниками и центрами любви и непререкаемого авторитета; они были окружены в наших глазах еще каким-то ореолом, который не знаком новому поколению. Мы, дети, всегда видели, что к нашим родителям, к нашим дедам не только мы сами, но и многие другие люди, в первую голову многочисленные домочадцы, относятся с почтением. Высокий социальный ранг, материальная независимость, иногда значительное богатство – казались совершенно естественной и неотъемлемой принадлежностью – *noblesse oblige*¹. Наши отцы и деды были в наших детских глазах и патриархами, и семейными монархами, а матери и бабки – семейными царицами. Мы прекрасно понимали, что «простые» дети любят своих родителей (мы даже не могли бы представить себе обратного!), но у нас было еще какое-то дополнительное чувство иерархического почтения к нашим родителям и дедам. В нынешнее время и любовь, и почтительность принимают «облегченные» и «упрощенные» формы. Я никогда не был сторонником такого «упрощения» семейных отношений. Все можно довести до абсурда: усложнением – довести до формализма, упрощением – до нигилизма... В наше время опасности «переусложнения» я не вижу, наоборот, опасность «переупрощения» я вижу во многих семьях...

Лев Толстой говорит, что помнит себя начиная с возраста в несколько недель... Даже в этом скромном отношении я не могу сравниться с Толстым, и мои самые ранние, достоверные и яркие воспоминания относятся к возрасту трех-четырех лет.

¹ Знатность (благородство) обязывает (*фр.*).

Правда, есть у меня смутные воспоминания и более ранние, но я не уверен, не плод ли это моего воображения на основании рассказов старших. Так, например, мне кажется, что я неясно, но все же помню мою бабушку Щербатову, склоняющуюся над моей кроватью. Но бабушка скончалась, когда мне было всего два года, и очень может быть, что тот смутный образ, который встает из моей памяти, относится не к ней, а к какой-нибудь другой даме.

Начиная с трех-четырех лет мои воспоминания носят совершенно иной характер: они эпизодичны, как вообще все детские воспоминания, но, несомненно, реальны и очень живы. Иной раз, непонятно почему, в моей памяти запечатлелись – и с какой яркостью! – совершенно незначительные сцены моего детства. Например, я помню, как будто это было вчера, такую картинку. Я стою на утренней молитве в нашей киевской детской. Я ясно помню не только отдельные предметы обстановки, но даже освещение, падающее из окна. Я еще не дорос до того, чтобы носить штаны, – в те времена маленьких мальчиков долго одевали в платья, как девочек. Няня повязала мне поверх белого платица широкий и жесткий темно-красный муаровый кушак и завязала его сзади бантом. Я заметил, что бант этот настолько велик, что я могу видеть его концы, если смотреть через плечо, и это мне очень понравилось. И вот, во время молитвы я, вполне сознавая, что это непозволительно (это я хорошо помню), тихо поворачиваю голову, чтобы взглянуть на бант через левое плечо. Няня стоит сзади меня и говорит слова молитвы. Я их повторяю. Она замечает мое движение и словом останавливает его. Я продолжаю молиться. Однако искушение слишком сильно, и я начинаю тихо и, мне кажется, незаметно поворачивать голову так, чтобы взглянуть на бант с другой стороны, при этом я старательно продолжаю повторять слова молитвы... Увы, мое движение замечено! На этот раз няня ничего не говорит, но моя правая щека встречает ее руку, которая не только не дает мне продолжать запретное движение, но приводит мою голову в исходное положение... Мне обидно не только то, что я не увидел банта, но еще более того, что моя хитрость не удалась...

Мне часто приходилось слышать, что детские воспоминания рисуют исключительно внешние явления. Мои личные воспоминания резко этому противоречат: я очень ясно помню не только внешние события, но и мои душевные переживания. Более того, я очень определенно чувствую единство моей личности с самых первых лет и до сих пор и не чувствую никакой грани между своей «детской» и «взрослой» психологией. Судя по моим воспоминаниям, взрослые обычно склонны считать детей более «детьми», чем это есть на самом деле, и приписывать им какую-то надуманную «детскую психологию», далеко не всегда совпадающую с действительной. С ранних лет я понимал, что взрослые – даже самые умные – в этом сильно ошибаются, и мне были ясны многие их «промахи», но я всегда старался не показывать вида, что понимаю их «хитрости»: они обычно выгодны для детей... Например, когда мы в детстве покупали что-нибудь на подаренные нам деньги, взрослые постоянно уменьшали цены наших покупок, чтобы у нас осталось бы побольше денег... Они думали, что мы этого не замечаем или не понимаем. А мы между тем только делали вид, что не понимаем, но понимали не только это, но и то, что нам это очень выгодно... Много друзей моего детства говорили мне то же самое. Я уверен, что теперь я сам делаю такие же психологические ошибки в отношении моих детей.

Вот еще картина из моего раннего детства. Я совершенно ясно помню свои тогдашние переживания. Дело происходит летом 1894 года. Мне четыре года. Доктора послали мою мать лечиться за границу, с нею поехал и мой отец, а мы с двухлетним братом Сашей были оставлены в подмосковной моего деда Щербатова Наре, на попечение его самого и старой немецкой гувернантки моей матери, Fraulein Thekla Kampfner (Теклички), которая была совершенным членом щербатовской семьи. Мы, дети, как и взрослые, очень ее любили (слава богу, она не дожила до русско-германской войны!). Разумеется, при нас были наши няня и подняня.

До момента отъезда моих родителей я как-то не осознавал полностью, что буду с ними разлучен месяца на два. Настал день отъезда. После общей молитвы мои родители сели в экипаж, запряженный четверкой лошадей (я прекрасно помню караковую пристяжную, Кра-

савчика). На козлах сидел кучер Гурьян (бывший крепостной) и «выездной» Алексей, – этот выездной казался мне тогда совершенно естественным. Мама старалась нам улыбаться на прощание, но меня поразил странный блеск ее черных глаз на очень худом и страшно бледном лице. Сидя в коляске, папа и мама перекрестили нас с братом. «С Богом, пошел!» – сказал папа Гурьяну, но тут произошла короткая заминка: Красавчик переступил через постройку. «Трогай!» – раздражительно крикнул дедушка, не заметивший причины задержки. К пристяжной бросилось несколько человек, в том числе старый кучер Никита, с белой бородой по пояс; мигом все было исправлено, и четверка тронула тяжелую коляску с места крупной рысью. Папа махал шляпой и что-то кричал, Мама глядела на нас...

Я стоял в оцепенении, но выкрик дедушки, хотевшего скорее положить конец тяжелой сцене расставания, вывел меня из равновесия. Только коляска тронулась, я дико заревел и, оттолкнув руку милой Теклички, которая хотела вести меня домой угощать в неурочный час какими-то замечательными сладостями, бросился бежать по аллее к дому и помчался наверх, в детскую. Там я вскочил на полосатый диван (как ясно я его помню!), начал топтать его ногами и кричать, что я «не хочу, чтобы мама уехала!». Няня всячески пыталась меня успокоить, но тщетно: я продолжал кричать и бесноваться по дивану. Пришла Текличка, но и это не помогло... Меня оставили одного – и правильно сделали! Скоро я стал отходить, и, хотя не переставал кричать и плакать, я начал чувствовать, что веду себя совершенно непозволительно и что я кругом виноват. Новыми взрывами крика и усиленным топотом я старался заглушить в себе голос раскаяния. «Мама говорила мне, что я теперь большой мальчик и должен показывать Саше хороший пример, – говорил мне внутренний голос, – а я вот что делаю!» Мне становилось все более стыдно. Я уже стал уставать от крика и топота, а голос раскаяния все усиливался: зачем я обидел няню и Текличку?!

Вдруг я услышал из соседней комнаты голоса Теклички и... дедушки, – дедушки, появление которого в наших комнатах в это время было совсем необычным... «Они, конечно, идут меня бранить», – подумал я. В глубине души я считал, что меня действительно очень и очень стоило бранить и что мама была бы совсем недовольна мной...

Дедушка и Текличка, однако, не вошли ко мне, а продолжали тихо говорить между собой по-немецки. Я тогда не понимал этого языка, но по интонации голосов прекрасно понял, что они не возмущены моим поведением, а... жалеют меня!

Все разом переменялось во мне! Оказывается, поведение мое не возмутительно, наоборот, меня надо жалеть! Новая волна криков и бешеного топтания...

Не помню, сколько времени это продолжалось, но я вижу себя в комнате Теклички; по моему лицу еще не перестали течь слезы, но я ем что-то очень вкусное, а Текличка рассказывает мне, на своем ломаном русском языке, какой-то чрезвычайно интересный рассказ.

Огромное большинство взрослых считают, что детство – «самый счастливый период жизни». Мне кажется, что и тут мы отчасти имеем дело с той психологической ошибкой, о которой я говорил выше: взрослые неправильно судят о детской психологии.

Конечно, тех тяжелых забот, того горя, которое мы испытываем в позднейшие годы, дети, к счастью, обычно не знают, а то, что представляется им горем, часто кажется нам, взрослым, достойным улыбки. Но надо перенестись в душу ребенка и понять, что даже то его горе, которое представляется взрослым пустяком, для него самое настоящее горе, и он от него действительно тяжело страдает. Правда, утешается ребенок гораздо скорее взрослого, но зато всякую мелкую неприятность он воспринимает куда острее.

Помню, как шести лет, в Тироле, я изобрел очень веселую игру: я сделал что-то вроде саней из большой картонной коробки, в которой нам прислали пальто из магазина в Вене, и катал в этих санях четырехлетнего брата по комнатам или притягивал на блоке. Эта игра особенно нравилась Саше. Настал день отъезда. Вещи все уложены, и вдруг мы видим, что нашу картонку не уложили... ее оставили! Как «большой», я отнесся к этому довольно философски,

тем более что в Риме, куда мы ехали, нам обещали дать другую большую картонку, чтобы сделать новые сани. Но Саша воспринял это совсем трагически: он хотел взять с собой именно эти сани, которые он полюбил. Взрослым казалось, что они в конце концов утешили Сашу, но это было не так.

В момент отъезда Саша пропал. Его нашли в каком-то уголке, в своих «саях», обессиленного от слез. «Je vou-drais mourir»...² – шептал он.

С высоты моих шести лет я смотрел на Сашу с иронической жалостью, но разве это не было настоящее и глубокое горе, пускай скоропроходящее?

А сколько тяжелого испытывают даже самые счастливые дети от подчас даже незаметных для взрослых уколов обостренного детского самолюбия! Сколько страданий – не только физических, но и нравственных – причиняют в раннем возрасте хотя бы обычные и благожелательные приказания взрослых: «Ты должен доесть или допить это!»

А учение! Мне лично оно давалось легко, и все же систематическое изо дня в день учение казалось мне иногда «рабством».

И все же, оглядываясь назад, я не только ни в чем не могу упрекнуть моих родителей, но я им всецело благодарен. Я отнюдь не жалею, что наше образование и воспитание не были «свободными» в смысле потакания ребенку, как это, к сожалению, уже тогда практиковалось в некоторых семьях. Мало за что я так благодарен моим родителям, особенно моей матери, руководившей нашим воспитанием, как за ту дисциплину, отнюдь не жесткую, но систематическую, к которой нас приучили с детства. Эта дисциплина, вошедшая в плоть и кровь, облегчила и облегчает еще мне многое в жизни. Но все же эта необходимая и разумная дисциплина не может не давить иногда на ребенка, особенно с живым характером. Он не может не чувствовать себя как жеребенок, на которого впервые накидывают оброть, а потом и узду...

Лично у меня детство было счастливее юности, но в общем я считаю, что, если можно говорить о «самой счастливой поре жизни», то эта пора скорее – юность, университетские годы, а не детство.

Из моих рассуждений о детском горе вовсе не следует, что я сам был, в какой бы то ни было мере, несчастным ребенком. Напротив, я могу только благодарить Бога и родителей за мое светлое и чрезвычайно счастливое детство.

В нашей семье с самого раннего детства я слышал не только хорошие слова, но, что гораздо важнее, всегда видел только хорошие примеры и рос в атмосфере любви.

Мой отец очень любил маленьких детей и умел с ними обращаться; он не находил подхода к мальчикам переходного возраста и совсем не понимал их, но затем опять сближался с нами в юности.

Как почти все дети, мы в раннем возрасте больше любили мамá, чем папá, хотя мы и его очень любили и чтили до чрезвычайности. Я помню, как семи лет на первой исповеди я каялся, что «меньше люблю папá, чем мамá». Отец Климент Фоменко меня не понял и долго говорил мне, что надо любить папá, что наш папá очень хороший и что все его любят и почитают, и что это большой грех – не любить отца... Я со слезами в голосе повторял: «Но я очень люблю папá!» – «Но тогда что?» – с недоумением произнес отец Климент. Мамá отнеслась к моим мучениям по этому вопросу гораздо тоньше, чем отец Фоменко, и авторитетно объяснила мне, что я просто ошибаюсь и не понимаю своих чувств. «Дети, – сказала мамá, – любят своих папá и мамá по-разному, но это не значит, что они любят одного больше, чем другого, и ты любишь нас с папá одинаково и больше об этом не думай». Такое объяснение мамá меня совершенно удовлетворило и успокоило.

Чтобы понять наше детское отношение к папá, надо почувствовать особую атмосферу нашего дома. Папá был ученый и философ и обладал огромной способностью отвлечения (в

² Я бы хотел умереть... (фр.)

очерке «Из прошлого» папá писал об этой черте у своего отца и брата, так что эта черта – семейная, да и у меня она тоже имеется). Уходя к себе в кабинет заниматься, папá как будто покидал землю и уходил в какие-то другие, нездешние области. Иногда это случалось с ним и не в кабинете, и тогда он делался совершенно отсутствующим, что порой смущало мало знавших его людей. Для нас это было обычно, и мы прекрасно понимали, когда папá с нами, а когда он уходит в какой-то таинственный для нас мир, и это даже придавало папá в наших глазах особый ореол – он был совершенно не как остальные люди и возвышался над ними.

Папá ежедневно весело играл с нами вечером, после обеда, и мы чувствовали себя с ним совершенно просто. Сразу после обеда, до подвижных игр, мы с братом усаживались по бокам папá на большой тахте в гостиной, и он с большим талантом в течение нескольких лет рассказывал нам нескончаемую историю и приключения «Коли и Миши». Некоторую способность в этом отношении я унаследовал от папá, и в дальнейшем мне приходилось много рассказывать разных историй моего изобретения моей младшей сестре Соне и другим детям, в частности своим старшим дочерям. Младшим своим детям я очень мало рассказывал и в этом отношении тоже как бы поддержал традицию: папá много рассказывал нам, старшим мальчикам, и почти ничего не рассказывал сестре Соне, родившейся на десять лет позднее меня.

Не помню, сколько лет мне было, когда я вообразил, что «большому мальчику стыдно слушать рассказы», и, хотя мне на самом деле очень хотелось продолжать слушать папá, я демонстративно покинул традиционную тахту, заявив, что теперь я слишком велик для того, чтобы слушать «Колю и Мишу»... Недолго после этого папá рассказывал одному Саше, но скоро рассказы совсем прекратились.

Когда папá общался с нами, мы чувствовали себя с ним совершенно просто, но, когда он «начинал о чем-то думать», а тем более уходил в свой кабинет, отношения между нами совершенно прекращались. Нам было запрещено входить в кабинет папá, когда он занимается, но мы и так не посмели бы туда войти. В кабинете папá был окружен для нас какой-то мистической атмосферой, и мое почтение к нему в раннем возрасте принимало чуть ли не религиозные формы.

Не помню, сколько мне было лет, когда мне впервые вместо платья надели мальчишеские штаны. Я был в восторге. «Жалко, папá не видит!» – сказал я. «Пойдем к нему», – предложила мамá. «Но он в кабинете!» – произнес я. Мамá взяла меня за руку и повела к кабинету: «Папá захочет поскорее увидеть тебя большим мальчиком». Не без робости я постучался в дверь. «Войди!» – не тотчас ответил папá и, когда я вошел, посмотрел на меня поверх очков не то отсутствующим, не то строгим взглядом. Папá был не на земле, и мамá сделала психологическую ошибку, думая, что он заметит, что я не в платье, а одет мальчиком. «Что такое?» – спросил папá. Мое настроение совершенно упало... «Ты видишь, Женя, как одет Сережа!» – подчеркнуто радостным голосом сказала мамá. Папá понял, на минуту спустился на землю и совсем другим голосом произнес: «А-а!» – и поцеловал меня... С ледяными руками я вышел из кабинета...

Мы боялись не папá, а «папá в кабинете», хотя и самого папá мы все же боялись, несомненно, больше, чем меня – мои дети.

Припоминаю по этому случаю другую картину. Мамá не было дома, а к нам зашла графиня Мусина-Пушкина, мать наших друзей детства, звать нас куда-то с ее детьми, на что требовалось разрешение мамá. «А папá дома? Спросите его». – «Папá в кабинете», – ответил мой младший брат, и, взглянув на нас, графиня поняла, что пойти в кабинет просить разрешения папá нам представляется почти столь же трудным, как взлезть на небо и просить разрешения у самого Господа Бога. Но это, повторяю, был не страх, а какое-то полумистическое чувство... На этот раз все уладилось очень просто: в это время вернулась мамá и отпустила нас с Пушкиными.

Во многом такое наше отношение к «папá в кабинете» было создано мамá. Мамá всегда и всячески стремилась облегчить папá возможность «уходить от земли», когда он этого захочет. Она во всем и всегда брала на себя неблагодарную роль Марфы, предоставляя папá роль Марии, причем делала это так, что папá этого не замечал или почти не замечал. Евангельская Марфа даже упрекнула Марию, что та ей не помогает в ее хлопотах, а мамá не только этого не делала, но, наоборот, всячески пыталась затушевать свою тяжелую и неблагодарную роль Марфы, старалась сделать свое служение незаметным. При характере папá ей легко удавалось скрыть от него, сколько скучных и тяжелых забот и хлопот она принимала на себя одну, чтобы дать ему возможность «витать в эмпиреях». Этот умственный и духовный полет папá был безмерно ценен. И Бог даровал ему для этого мощные крылья – но без каждодневного, смиренного марфинского подвига мамá эта редкая возможность отвлечения от земного была бы для папá в такой же мере невозможна. Мамá незаметно создавала земные условия для надземного парения папá.

Переношусь мыслями в наш милый киевский дом – Левашевская улица, № 4 (через дом от дома генерал-губернатора). Этот дом был куплен папá в 1893 году, к нему тогда же была сделана большая пристройка по плану, выработанному мамá. Здесь мы жили зимами (за исключением зим, проведенных за границей) с 1894 по 1906 год, когда наша семья переехала в Москву. Я слышал, что дом этот сильно пострадал от обстрела во время Гражданской войны и что в нашем саду похоронено много убитых; что стало с домом сейчас – не знаю. В этом доме я провел много счастливых дней и вспоминаю его всегда с любовью.

Внешний распорядок жизни нашей семьи был, для тогдашнего времени, очень обычным, теперь он представляется даже мне самому чем-то старинчатым.

Утром, от 8 до 9, пили кофе. Я так ясно вижу строгий белый с черным фарфоровый сервиз, с золотым шифром мамá! (Ни одного предмета из этого столь памятного мне сервиза, как и из такого же сервиза столового, не сохранилось на память моим детям, ничего из старинного фарфора, серебра и кубков – ничего материального.)

Ровно в 12 часов, минута в минуту (мамá была аккуратна, а папá аккуратен до маниакальности в вопросе времени, чем напоминал нашего прадеда, князя Петра Ивановича), Иван докладывал папá и мамá: «Ваше сиятельство, кушать подано!» Иван был в черном сюртуке и белых перчатках – значит, завтрак (или обед) был простой, домашний, иначе он был бы во фраке. Нам это казалось более чем естественным, но моим детям – это было бы сейчас необычно! И это еще была «простота»: у дедушки люди подавали в синих ливрейных фраках на желтой подкладке, пуговицы на ливреях были с гербами. Мне очень нравился ангел, держащий огненный меч, в щербатовском гербе, но еще больше нравился скачущий всадник с мечом в нашем собственном гербе...

За завтраком у нас было два блюда и десерт. В 3 часа был чай, в 6 часов – обед. Обычный обед был в четыре блюда, причем, конечно, пирожки и т. и. за блюдо не считались; при гостях было минимум пять блюд и разные закуски. У дедушки в городе за обедом было нормально пять блюд («перемен») и, кроме того, разнообразные закуски; в деревне, как и у нас, было четыре блюда. В 9 часов подавался вечерний чай.

Оба моих деда, особенно Щербатов, любили покушать, отец же и мать относились к еде весьма равнодушно (особенно мамá), но, конечно, считали естественным, чтобы еда была очень хорошая. Несмотря на нашу «скромность» в еде, иметь кухарку, а не повара даже на ум не приходило, а повару был нужен еще помощник, а еще на кухне считалась необходимой специальная судомойка. Все это на семью из четырех человек (потом – пять, когда родилась сестра Соня). Еще была многочисленная прислуга, штат которой, искренно, казался нам очень скромным по сравнению, например, с большим штатом людей у дедушки Щербатова. Дедушка же рассказывал, что штат прислуги у их родителей (моих прадедов) был неизмеримо больше, чем

у них. Так шло упрощение быта наших семей, из поколения в поколение, еще до всяких революций...

Как мы ни «скромно» жили, ели мы очень вкусно и, конечно, с теперешней медицинской точки зрения, слишком много. Часть прислуги (няня, девушка мамá) ели в «застольной», то есть пользовались нашим «княжеским столом». Остальная прислуга ела за «людским столом», который и по качеству, и по обилию был бы для нас сейчас совершенно недостижимым идеалом. Наши люди ели «вволю»; только мясо (гораздо лучшего качества, конечно, чем то, которое мы, в микроскопических дозах и то не на каждый день, едим теперь) нормировалось, в городе – по фунту на человека в день, в деревне эта норма иногда повышалась. Кроме того, на «людской стол» шли остатки – часто значительные – «княжеского стола». О качестве и обилии «людского стола» можно было судить хотя бы по тому, с какой поразительной быстротой, до неузнаваемости, толстели поступавшие к нам «буфетные» и «кухонные» мужики.

Вина папá пил очень мало, что не мешало все же, при всей скромности нашего погребá, выписывать из Германии бочонками любимый папá рейнвейн, а специально для дедушки держать какую-то замечательную мадеру. При званных обедах подавать за столом русское вино казалось тогда неприличным, для них было совершенно необходимо бордо – красное и белое – и, надо сказать, что такого Сотерна, или Икема, который я пил у нас и у других в России, во Франции мне пить не приходилось. У нас были отличные наливки, запеканки и фруктовые ликеры домашнего изделия, но на обедах с гостями эти напитки не подавались, не говоря уже о разных квасах – хлебном, сухарном, клюквенном, яблочном и водичках – черносмородиновой и др. Все это подавалось только за нашим обычным столом. Водки у нас в доме почти не употребляли, а мы с братом до самой Мировой войны ее совсем не пили (не считая иногда зубровки).

К столу подавалось и у нас, и у всех родных и знакомых столько, что всегда можно было накормить нескольких случайных гостей. Традиционная русская «широта» сказывалась тогда во всем, и мы все так к ней привыкли, что просто ее не замечали, но черта эта поражала иностранцев – не только гувернеров и гувернанток, приехавших в Россию, но и иностранцев более высокого и богатого социального круга, привыкших у себя к тому, что мы тогда называли «европейской скарედностью» и к чему сейчас нас приучает жестокая нужда. У нас «широкими» должны были быть даже далеко не богатые помещичьи семьи, и общественное мнение принуждало к «широте» даже скупых людей. Отчасти эта «широта» была проявлением традиционного русского гостеприимства и хлебосольства, отчасти пережитком «натурального» крепостного хозяйства. То, что я лично видел в этом отношении, совершенно не может идти в сравнение с тем, что было раньше. Так, за каждодневный стол моего прапрадеда Апраксина никогда не садилось меньше 40–50 человек, а часто и больше... Много дворянских семей разорилось от ставшего им непосильным хлебосольства, от которого они не могли отказаться. Можно сказать с уверенностью, что апраксинский открытый стол на полсотни человек уже больше не найдет подражателей; в свое же время Апраксин был яркий, но далеко не единственный образчик широкого барского радушия. Среди Трубецких прежних поколений можно назвать не одного, спустившего большое состояние вследствие безграничной широты своей природы.

Ни папá, ни мамá не любили светской жизни: папá непомерно страдал от всех пут и обязательств, которые она накладывает, и, как мог, от них уклонялся. Как «философу» ему в свете прощалось многое, за что осудили бы другого. Надеть фрак и ехать куда-нибудь для светского времяпрепровождения было для папá действительно настоящим страданием. Всего больше он любил заниматься в своем кабинете, слушать серьезную музыку или проводить время в тесном семейном кругу. Однако горячий патриотизм и высокое чувство ответственности постоянно толкали его на путь общественного служения, к которому, по существу, у папá было мало вкуса, но тут он не щадил ни сил, ни времени. То, что папá писал в своем «Из прошлого» про своего брата Сергея, относится одинаково и к нему самому.

Мама́, как я говорил, тоже не любила светской жизни, но она все же не могла, в своей молодости, отказаться от нее столь же полно, как то сделал папа́; она и тут брала на себя некоторые скучные светские обязанности, хотя бы для того, чтобы освободить от них папа́. В частности, мама́ была во всем очень далека от мира «профессорских жен», но принуждала себя поддерживать отношения с ними, чтобы не давать пищу нареканиям, что «княжеская семья снобировала профессорский мир»... Таким образом, мама́ как бы прикрывала собой почти полное отступление папа́. В «настоящем свете» положение было проще, и мама́ там было менее трудно, но в профессорской среде положение мама́, как «социально чуждого элемента» (сказали бы большевики), было куда сложнее и требовало с ее стороны много такта.

К счастью мама́, у нее в Киеве образовался небольшой, но тесный кружок друзей, из них на первом месте – княгиня Наталья Григорьевна Яшвилъ, наиболее богато и разнообразно одаренная женщина, какую мне пришлось знать. Дети ее были одними из наших друзей детства. По возрасту они были ближе к Саше. Бедная княгиня Наталья Григорьевна, рано потеряв своего мужа, пережив обоих своих детей, для которых она исключительно жила, скончалась в 1939 году в Праге. Да будет ей легка земля на чужбине! Много светлых воспоминаний детства связано у меня с ее образом...

Зиму мы проводили в Киеве, в нашем доме, лето же в Наре (Вере́йского уезда), подмосковной [усадьбе. – *Ред.*] дедушки Щербатова, где провела свое детство и мама́.

В самом раннем детстве мы ездили летом в подмосковную Трубецких Меншиово (Подольского уезда). С тех пор как дедушка Щербатов овдовел (1892 г.), чтобы не оставлять его никогда одного, его дочери чередовались при нем. Зимой с ним в его московском доме (Большая Никитская, 54, где я родился) жила со своей семьей моя тетя Новосильцева, а летом в Нару приезжали мы. Осенью мы иногда ездили вместе с дедушкой в его огромное екатеринославское имение Хорошее (Павлоградского уезда), больше 20 тысяч гектаров, там я впервые увидел безбрежные русские степи и почувствовал особую прелесть степного воздуха.

Нару мы, дети, очень любили, и она была для нас родная. Большой недостаток Нары – близкое соседство с хлопчатобумажными ткацкими фабриками Якунчикова (впоследствии Цинделя), но в детстве мы этого недостатка почти не замечали.

Мне стоит закрыть глаза, и я вижу нас в Наре. Няня открывает шторы и окна, и в нашу комнату врывается ослепительный летний свет и пьянящий утренний воздух. Мы спешим одеваться. В соседней комнате нас уже ждет молоко. Мама́ приходит к нам здороваться. Папа́ еще не встал. Дедушка вставал часов в восемь, и мама́ всегда спешила встать раньше него, чтобы пить с ним кофе.

Не успели мы поздороваться с мама́, как по коридору слышится хорошо нам знакомый звук шагов в туфлях, и в дверях появляется в халате верблюжьего цвета наш милый дедушка. Лицо его так и сияет добротой и любвеобилием. Дедушка любил приходить к нам ежедневно в детскую здороваться, а вечером присутствовать при нашей молитве перед укладыванием спать.

– Поздно, поздно сегодня встаете! – говорит он, если застает нас еще в детской, а не в нашей столовой.

– А мы, дедушка, уже давно встали, – говорим ему мы, если он застает нас в столовой.

– Знаю, как давно вы встали, – говорит дедушка, – только что вошли: я слышал! – И обращается к мама́: – *Verotchka, tu es déjà prête? Tu es encore plus matinale que moi!*³

– *Mais non Papa, je me leve toujours à cette heure*⁴.

– *Voulez-vous prendre le café*⁵

³ Верочка, ты уже готова? Ты еще раньше меня встаешь! (*фр.*)

⁴ Но, папа́, я всегда встаю в это время (*фр.*).

⁵ Желаете ли пить кофе? (*фр.*)

Родители дедушки, как все тогдашнее поколение, свободнее говорили по-французски, чем по-русски, но большинство поколения моего дедушки, и в том числе он сам, уже лучше говорило по-русски, чем по-французски. Однако по традиции дедушка обычно говорил со своими детьми по-французски, а писать ему иначе чем по-французски его дети не смели, хотя это и затрудняло обе стороны. Для нас, внуков, в этом отношении было сделано большое послабление: мы писали дедушке по-русски и, кроме того, говорили ему «ты», в то время как его собственные дети (наши родители, дяди и тети) говорили ему «вы». Разумеется, оба деда, Трубецкой и Щербатов, тоже говорили своим родителям «вы»; тогда дети «тыкать» родителей, конечно, не смели и помыслить.

Дедушка с мамой уходил вниз, а мы, кончив пить молоко, бежали с няней, а позже с гувернанткой, в аллею перед домом. Впрочем, раньше мы заходили в буфет, где ежедневно просили старого буфетчика Егора, с большими баками и бритыми усами, дать нам хлеба для лошадей. Из специального ящика Егор доставал много недоеденного вчерашнего хлеба и еще часто давал нам корки дынь и арбузов. Все это мы несли в корзине на конюшню, чтобы угостить лошадей. На подходе к конюшне нас охватывал столь мною любимый запах лошадей, конского навоза и хорошо смазанной упряжи. Как редко теперь приходится чувствовать этот запах! Кучера пускали нас в стойла и денники к «смирным» лошадям, а сами давали, на наших глазах, хлеб и дынные корки менее смирным. Мы обходили и угощали всех лошадей на «княжеской конюшне», а если оказывался остаток угощения, передавали конюху, который шел на «рабочую конюшню» и при нас раздавал его стоявшим там лошадям. Кучера считали, что рабочих лошадей мы сами кормить не можем: по-видимому, честь им была бы слишком велика...

Няня или гувернантка спешили увести нас с конного двора, мы же, напротив, любили оставаться там подольше. Там всегда было много интересного: то гоняют на корде застоявшуюся лошадь, то смазывают экипажи в каретном сарае, то работает шорник по мелкой починке сбруи, иногда кузнец кует лошадей...

Старые кучера Никита и Гурьян любили наше утреннее появление на конном дворе, и тон их с нами представлял удивительное, но тогда обычное, смешение покровительства (как к детям) и почтительности (как к «князькам»). Из дома мы с братом сами несли корзину с угощением для лошадей, но твердо установленный старыми кучерами этикет не позволял нам нести ее самим по конному двору. Как только мы подходили к конюшне, корзину от нас брал встречавший нас кучер, но и он считал для себя неуместным носить ее, а вызывал для этого конюха, сам же он, идя впереди, отпирал для нас денники и кричал на лошадь: «Прими!», громко ударяя ладонью по лоснящемуся крупу...

Мне было лет шесть или семь, когда я однажды спросил кучера Гурьяна, почему он знает, что вновь купленная лошадь – кобыла? «Сразу по всему видать, – с большим тактом ответил Гурьян, – потом сами будете узнавать. – Чего, дурак, смеешься! – строго обратился он к конюху Павлу, несшему корзину с хлебом и почему-то улыбнувшемуся. – Понятие надо иметь!» Кучер Гурьян умел «политично» выражаться. Помню, как, говоря о плохо выезженном Богатыре, он выразился с презрением: «Не плейсированная морда, простой мужик!»

Для нового поколения стоит, пожалуй, отметить то, что нам представлялось совершенно естественным и не могло быть иначе: всем старикам кучерам, буфетчикам и даже дворецкому Осипу мы говорили «ты». «Ты» же мы говорили всем крестьянам и вообще «простому народу». Нам говорили «вы». Впрочем, в народе тогда еще сохранялись исчезающие следы патриархальности, и некоторые говорили «ты» не только нам, детям, но и нашим родителям и дедушке, при этом была в ходу оригинальная формула: «Ты, ваше сиятельство»...

У нас с Сашей на конюшне были, конечно, любимые лошади (мой любимец был Баскач), но когда, с семи лет, я стал ездить верхом и у меня появилась собственная Башкирка, подарок дедушки, она затмила в моих глазах всех остальных лошадей.

С конного двора мы шли в парк, на огород, «на ферму» (так назывались в Наре хозяйственные постройки), изредка катались с папá по реке Наре на лодке. На реке было много кувшинок – желтых и белых, но мы с презрением относились к желтым и стремились нарвать белых. В парке была «гимнастика», то есть разные гимнастические приспособления, устроенные еще для дяди Сережи Щербатова, были качели, гигантские шаги; у нас был детский огород, где мы разводили сами овощи (я этого никогда не любил, и занимался им Саша), был деревянный детский домик, в котором можно было сидеть и играть.

Без десяти минут двенадцать раздается звон колокола на аллее близ дома – это первый звонок к завтраку. Надо идти домой и привести себя в порядок ко второму звонку. После него все немедленно собираются в столовой, где мы обедали со всеми, начиная с пяти-шести лет. Все ждут дедушку, который выходит последний из своего кабинета и садится на председательское место. Дедушка всегда – и зиму и лето – невзирая ни на какую жару, ходил в черном суконном сюртуке, с таким же жилетом, в черных брюках (по старой моде без проглаженной складки) и белой накрахмаленной рубашке (накрахмалены были не только воротник и манжеты, но и грудь – «манишка»). О том, чтобы из-за жары снять хотя бы жилет, не могло быть и речи. Не удобство, а традиции и «стиль» руководили тогда жизнью. Надо всем этим теперь многие посмеиваются, совершенно упуская из виду огромное воспитательное дисциплинирующее значение соблюдения внешних форм вопреки личным неудобствам.

Все очень просто, но чинно. Мы, дети, сидим на нижнем конце стола с нашими учителями и гувернантками и должны вести себя тихо, но запрета разговаривать между собой нет, мы только не должны мешать взрослым и вмешиваться в их разговоры, если они сами к нам не обращаются.

После завтрака взрослые переходят в гостиную или на крытую террасу, и папá обычно играет с дедушкой в шашки. Дедушка – страстный курильщик, без папиросы его почти нельзя вообразить; только за столом он не курил. В те времена курить до полного окончания еды было просто немыслимо – это было бы грубо по отношению к некурящим. К сожалению, теперь некоторые смотрят на это иначе... Зато, после еды, до того, чтобы приняться снова за свои вечные папиросы, дедушка курил трубку. Трубку эта была с длиннейшим чубуком (куда больше метра), и зажечь ее самому курильщику было совершенно невозможно. Дедушка сидел в кресле и тянул дым через широчайший янтарный мундштук, а у его ног на корточках сидел Алексей или Осип (не дворецкий, конечно, а другой) и раскладывал целый костер из спичек на заранее набитой табаком трубке, доходившей до самого пола. Как только табак принимался, спички спешно убирались, и дедушка долго и со вкусом курил свою любимую трубку. У него был целый набор разных трубок на особой стойке. Некоторых я никогда не видел в руках дедушки. Иногда он приказывал подать себе после завтрака «короткую» трубку (около полуметра), но почти всегда курил самую длинную, которую я тоже больше всех любил. Тогда я мечтал, что «когда я буду большой», тоже буду курить точно такую же трубку... Судьба здесь решила иначе – я совсем не курю...

После завтрака мы, дети, занимались разными тихими играми и занятиями дома или на верхней террасе. Обычно мамá или мадемуазель нам читали, причем отдельно мне и брату, ввиду разницы в возрасте.

В три часа мы шли опять в столовую, пить молоко. После этого, если была хорошая погода, мы ездили кататься с дедушкой, папá и мамá. Часто мы ездили в окрестные Текличкой на немецкий лад леса «Александрспарк» (по имени дедушки) и «Мариенпарк» (по имени бабушки), Сорокин лес и другие окрестности. Там все выходили из экипажей и гуляли. Иногда собирали ягоды и грибы, но я очень рано вообразил, что это – не мужское занятие, и не принимал участия в сборах.

Часто мы ездили кататься одни, без кучера, с папá и Сашей, в «кабриолете» или «шарабане», в одиночку, в шорах. На хорошей дороге папá давал нам вожжи и учил править или

правил он сам, причем Саша тогда держал в руках конец вожжей; я считал это для себя унижительным, а он любил. Мы тогда с Сашей изобрели особый возглас – «утилили!», при котором, как нам казалось, лошадь шла особенно размашистой рысью. Я так хорошо помню моего любимого огромного, рыжего с проточиной англичанина, с совсем не английским именем Баскач. Баскач был уже не молод, прекрасно выезжен и покладлив; с маленькой старой Кореизкой приходилось труднее: она была очень пуглива. Ездить на белоснежной, раскормленной «поньке» мы не любили: она не давала хорошего хода, и потом, это была «детская» лошадь, а я себя уже совсем не считал ребенком... Когда я начал ездить верхом, я вообще стал презирать «шарабанчик», как «детский» экипаж. Сопровождал меня верхом кучер Тимофей, человек очень богобоязненный, и на которого – совершенно правильно – рассчитывали, что он ничему дурному меня не научит. Я сам научил Тимофея, что земля – шар. Он почтительно поблагодарил меня «за науку», но я совершенно не уверен, признал ли он мое поучение за истину. Мне скорее кажется, что он считал его еретическим, так как утверждал, что «в Писании сказано, что земля стоит на китах».. Сам он, впрочем, не мог этого прочесть, он был неграмотен. Тимофей мне рассказывал про Турецкую войну (1877–1878 гг.): «Стоим это мы на Шипке, вдруг смотрим, откуда ни возьмись, два меллеона, а то и больше, турок на нас из-под горы лезут... Ну и задали же мы им тут!» Я и так уже горел патриотизмом, и папá с самого раннего детства много рассказывал нам про подвиги русской армии.

Когда я вкусил прелесть верховой езды, то стал ездить уже каждый день, несмотря ни на какую погоду. Мама́ правильно считала, что мальчиков следует закалять, и не препятствовала мне выезжать верхом даже в самый дождь; дедушка – старый кирасир – это очень одобрял. Дедушка дал мне первые уроки верховой езды, причем требовал старой «николаевской» посадки. Когда потом я стал брать уроки езды в манеже и мою посадку изменили и позволили мне ездить «облегченной» рысью, дедушка этому не перечил, но только качал головой: «В наше время...»

Домой с прогулки мы возвращались так, чтобы ни в коем случае ни на минуту не опоздать к обеду (6 часов). Ранний обед часто стеснял не только нас, детей, но и взрослых, и даже самого дедушку, но... так было заведено и так должно было быть.

Несколько раз в лето устраивались пикники в лесу. Мы выезжали туда скоро после завтрака, а еще до нас отправлялась телега с провизией, сервизом, самоваром, креслом для дедушки и т. и. Во время пикников мы очень любили устраивать в лесу на поляне костер. В дни пикников было заранее решено, что обед будет позднее, в 6.30, а иногда даже и в 7 часов!

Ложились спать мы, дети, рано: в 9 часов все должно быть уже потушено. Мне очень было завидно, что «взрослые продолжают жить», когда мы должны спать. «Наверное, тут-то у них самое интересное и веселое», – думал я...

В Наре была одна атмосфера, а в Хорошем, несмотря на то что мы жили там с тем же дедушкой, совсем иная.

Помню осенний приезд на станцию Лозовую и ночную поездку в нескольких экипажах, за 40 верст, в Хорошее.

Впереди ехал верховой с пылающим керосиновым факелом, причудливо и тускло освещающим дорогу.

Однажды, недалеко от дороги, по которой мы проезжали, в степи, старый чабан с подпаском пасли отару овец. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Вдруг чабан видит, как по воздуху выше земли несется пламя (наш факел). Он крестится и протирает глаза, но пламя не только не пропадает, но еще движется что-то с горящими огненными глазами (фонари передней кареты). «Антихрист!» – мелькнула мысль у чабана, он вскрикнул и упал в обморок. Испуганный подпасок со всех ног бросился бежать в степь. Только под утро он пришел в деревню, где узнал, что конец мира еще не наступил... Пошли искать старого чабана. Переживание отразилось

на нем так сильно, что его пришлось отправить в больницу... Я потом видел этого чабана: прекрасный тип старого запорожца! Никакой реальной опасности он, наверное, не испугался бы. Вообще, когда читаю «Тараса Бульбу», я вспоминаю некоторых хорошевских чабанов и мужиков. Часть же тамошних крестьян сохранила чисто великорусский тип. Это были потомки крепостных, переселенных туда еще моим прадедом князем А.Г. Щербатовым из Самарской губернии. Однако быт этих крестьян был уже чисто малороссийский, начиная с того, что они жили не в избах, а в хатах, мазанках. К сожалению, они отказались и от великорусских бань. Чистоту малороссийских жилищ они усвоили, но переняли их обычай жить без бань.

Нара была имением в две с лишним тысячи десятин. Большей частью Нары были леса, а на пахотной земле сколько-нибудь серьезного хозяйства не велось. Другое дело было Хорошее: хозяйство – полеводство и овцеводство – велось там в огромном масштабе. В этом хозяйстве оригинально сочетались черты очень отсталые и очень передовые. Так, допотопное «переложное» хозяйство велось там при помощи самых усовершенствованных по тому времени машин.

Я исключительно рано стал интересоваться сельским хозяйством и первые уроки получил в Хорошем. Кое-что рассказывал мне дедушка, он очень одобрял мой интерес к хозяйству. Кое-что показывал и объяснял управляющий Хорошим, агроном Петров, человек очень практичный и опытный. Дедушка ему верил безусловно (он был вообще чрезвычайно, прямо по-детски доверчив). Я помню, как широко и трогательно дедушка праздновал в Хорошем 25-летний юбилей службы Петрова и как Петров благодарил своего благодетеля. (Гораздо позже выяснилось, что Петров систематически обкрадывал дедушку, причем в невероятных масштабах. Многие, оказывается, знали про хищения Петрова, который, уверенный в непоколебимом доверии к себе дедушки, дошел до полного цинизма и открыто покупал на свое имя один доходный дом за другим. Все выяснилось скоро после кончины дедушки. Петров сам подал в отставку, но очень скоро сошел с ума, – не пошли ему впрок наворованные деньги!) Этому Петрову я, однако, могу быть благодарным за многие сведения, которые он мне дал тогда по хозяйству, и отчасти даже за самый интерес к нему, который он возбудил во мне. По-видимому, Петрова забавлял необычный интерес к хозяйству мальчика, которому в последний приезд в Хорошее было не больше девяти лет. Я сам теперь удивляюсь этому интересу и усвоенным мною тогда сведениям. Память не может меня обманывать – во всяком случае полностью – и относить к тому времени то, что я узнал позднее. Овцеводством, например, мне никогда не приходилось заниматься, и мои познания в этой области (конечно, весьма ограниченные), несомненно, получены именно в детстве, в Хорошем, а не позже.

Ежедневно утром я ездил верхом, а днем с дедушкой в экипаже. Он объезжал разные хутора, расположенные иногда за 15–20 верст от усадьбы. В то время об автомобилях еще не помышляли, и для поездок по имению у одного управляющего было не менее трех троек лошадей. Выездной дедушки, Алексей, хвастливо рассказывал людям в Наре про хорошевское великолепие: «Князю никогда два раза той же тройки не подадут – каждый день новую, а не понравится – князь еще другую требует!» Разумеется, здесь была большая доля воображения, но, действительно, выездных лошадей в Хорошем было множество. Был там и рысистый конный завод.

В доисторические времена Екатеринославская и смежные с нею губернии были покрыты морем. В Хорошем в земле часто находили окаменелые остатки морских животных, и в детстве у меня даже была маленькая коллекция их. Но самый вид бесконечных степей, только изредка перерезанных балками, как-то убедительно свидетельствовал, что тут действительно было морское дно. Только по берегу реки шла кайма дубовых лесов – большая редкость и богатство в этих безлесных местах! Земли были – тучнейший чернозем. Не видевшим таких земель даже трудно себе представить, насколько они черны, особенно после дождя, когда поднятая земля лоснится жирным блеском.

Если в хорошевских землях можно было наблюдать остатки доисторических существ, то в Хорошевском быту можно было найти немало следов былого времени. Я и в Наре видел общение дедушки с народом, но здесь общение это носило еще более яркие черты старого уклада жизни.

После приезда дедушки в Хорошее крестьяне, деревнями, приходили приносить ему хлеб-соль. В Наре и позже у нас в Бегичеве, крестьяне тоже приходили «поздравлять с приездом», но хлеба-соли, как в Хорошем, не приносили.

Хорошее – огромное село, и, когда дедушке доложили, что Хорошевские пришли поздравить с приездом, я увидел на дворе перед домом толпу во много сот крестьян. Другие деревни, приходившие поздравить с приездом, были менее многочисленны, но все же эти толпы никак нельзя было сравнить с нарскими или бегичевскими.

Дедушкин «выход» носил одновременно двойной характер: он был очень прост, и в то же время во всей церемонии чувствовалась очень старая традиция. Приблизительно так же, думается мне, выходили на крыльцо к народу еще наши удельные предки.

Дедушка выходил на подъезд с колоннами Хорошевского дома не один, а со всеми нами. Папá был в это время в Киеве; мамá не любила этих выходов, но скрывала это от дедушки и тоже выходила; мы с Сашей очень любили эту церемонию. Дедушка выходил всегда в шляпе, опираясь на палку. Мужики и бабы стояли отдельными толпами. Впереди мужиков стоял староста деревни и десятские; староста держал на руках деревянное блюдо, покрытое вышитым полотенцем, на нем лежал каравай хлеба и соль в деревянной солонке. Мужики были без шапок, причем они не снимали их при появлении дедушки, а уже стояли с непокрытой головой. Бабы чинно кланялись.

«Рад вас видеть!» – говорил с крыльца дедушка. – Мой наследник (дядя Сережа) жалеет, что быть не мог; вот приехал к вам с дочерью и внучатами!» Потом дедушка сходил со ступеней крыльца, подходил к старосте, брал у него из рук блюдо и благодарил за хлеб-соль. Староста и мужики низко, но с достоинством кланялись. Никакого подобострастия не было в помине. Блюдо дедушка тут же передавал стоявшему наготове человеку. Все было необычайно чинно и просто. Далее дедушка входил в расступающуюся перед ним толпу крестьян, я шел за ним. В это же время мамá, держа за руку Сашу, входила в толпу баб и разговаривала с ними. Я думаю, это было ей нелегко, но чувство долга было в ней всегда необычайно сильно, и она никогда и ни в чем не уклонялась от его выполнения, – «выходить» же вместе с дедушкой она, конечно, считала своим долгом.

Дедушка разговаривал с отдельными мужиками, особенно со стариками, иногда он обращался к целым группам. Разговор шел обычно об урожае. «Я еще не видел ваших зеленей, – говорил дедушка, – как они?» – «Слава богу, зеленя хорошие!» – ответил какой-то старик. – Вот утром князек верхом катался, так видел их». – «Да, слава богу, зеленя хорошие!» – счел я долгом сказать и успокоился, услышав звук своего голоса... На самом деле я не обратил внимания на качество зеленей... Потом, когда прием кончился и мы вернулись домой, дедушка сказал мне: «Молодец!», и я молча гордился своим публичным выступлением.

Между тем из «экономии» (контора и хозяйственные постройки имения) принесли водку и сало, любимую малороссийскую закуску. Дедушка взял стакан водки, пригубил и сказал: «Пью за ваше здоровье», рукой он пригласил мужиков брать стаканы и сало. Баб угощали пряниками и разными другими сладостями, но, разумеется, без водки.

Дедушка удалялся с нами домой, а крестьяне, съев все обильное угощение, тоже расходились.

Так происходили выходы к каждой деревне отдельно, с незначительными вариантами. Раз, помню, дедушка долго говорил с одним севастопольским солдатом, местным крестьянином. Подробно узнав о положении семьи и хозяйства этого мужика, дедушка сказал ему: «Ступай в контору и скажи, что я приказал тебе дать...» Не помню, что именно приказал дать

мужику дедушка, но дар был, видимо, щедрый, судя по благодарности старого солдата и по гулу толпы.

По этому случаю дедушка рассказал нам потом с Сашей, как он, адъютант Главнокомандующего, был послан с поручением в осажденный Севастополь и как за ним и сопровождавшим его казаком гнались французские разъезды. У дедушки была прекрасная, кровная лошадь, и он легко мог ускакать, но у казака лошадь была хуже, и дедушка мучился: с одной стороны, надо исполнить поручение, но с другой – как оставить казака одного? Дедушка не решился бросить его на произвол судьбы и, сдерживая лошадь, скакал с ним рядом. Французы настигали. Дедушка уже вынул пистолет из седельной кобуры. Вдруг французы остановились и дали залп, слегка ранивший дедушкину лошадь. К счастью, французы бросили преследование в самую критическую минуту («должно быть, лошади у них выбились из сил», сказал дедушка), и они оба с казаком благополучно прибыли на место...

«Общение с народом» в Хорошем было постоянное. То и дело дедушке докладывали, что из церкви приехала свадьба крестьян такой-то деревни. По распоряжению дедушки в залу входили молодые, их родные и некоторые поезжане. Они были смущены обстановкой и робко ступали по паркету в своих кованых сапогах и чоботах. Дедушка никогда не принимал крестьян дома, а всегда выходил к ним, но для свадеб делалось традиционное исключение.

Молодые одним движением бросались дедушке в ноги, так же, как они это делали перед своими родителями, возвращаясь из церкви. Дедушка терпеть не мог, когда какой-нибудь проситель бросался перед ним на колени, и кричал: «Только перед Богом на колени становятся!» – но тут было другое дело: это была традиционная церемония, и он был отцом «своих» крестьян. Потом молодые вставали, дедушка их поздравлял, иногда говорил несколько назидательных слов и всегда дарил золотой. Свадьбе приносилось угощение, а молодые плясали перед нами. Мы с Сашей очень любили на это смотреть.

Осень – время деревенских свадеб, и их прошло довольно много на моих глазах, иногда, в праздник, несколько в один день. Дедушка всегда неизменно лично принимал свадьбы и никогда не сокращал времени приема, хотя бы и плохо себя чувствовал; он считал, что не имеет права от этого уклоняться...

Раз только произошла неприятная сцена. Молодая во время пляски поскользнулась, и кто-то из поезжан при этом что-то сказал... (Я, конечно, ничего не понял, а после мне объяснили, что он сказал «глупость». По-видимому, это была не совсем приличная шутка.) В группе поезжан раздался сдавленный смех, но он немедленно прекратился... «Как ты смел, дурак! – крикнул дедушка. – Вон!» – «Ваше сиятельство...» – начал было испуганный поезжанин, но дедушка не дал ему кончить: «Молчать, вон!» Виноватый быстро вышел. Праздничное настроение пропало, но милый дедушка хотел это исправить, он сказал смущенным молодым и их родителям, что они никак не виноваты, и дольше обыкновенного разговаривал с ними, прежде чем их отпустить.

История эта имела продолжение. Когда мы в следующее воскресенье выходили из церкви (где мы стояли на особом «княжом» месте, что нас тогда не поражало), к дедушке подошел церковный староста, вернее, «заместитель старосты», так как во всех церквях своих имений старостой числился сам дедушка, назначавший своим заместителем какого-нибудь почтенного крестьянина. Этот староста смущенно просил дедушку простить виноватого, который «мужик хороший», но был «выпивши»... Дедушка был отходчив и, конечно, уже давно не сердился. Однако он наставительно и строго сказал несколько слов очень смущенному виноватому. Все это, разумеется, происходило публично, и кругом стояла толпа крестьян. «Смотри, – сказал дедушка, – уж борода седая! Ты пример должен молодым подавать, а ты такое говоришь, да еще при мне! Ну, ищи, – кто Богу не грешен, кто бабе не внук». Думаю, что во времена крепостного права эта сцена развернулась бы точно так же!

Дедушка был с молодости сторонником освобождения крестьян от крепостной зависимости и одним из деятелей в «эпоху Великих реформ» императора Александра II, любимого царя дедушки. Однако, после освобождения крестьян, дедушка не считал себя освобожденным от заботы о своих прежних крепостных. Крестьяне уже были не «его», но он по-прежнему оставался «их» барин. Дедушка постоянно заботился о благосостоянии крестьян и обо всех их нуждах. В своих имениях он повсюду строил церкви. Даже продавая одно из своих имений («Улыбовку» Саратовской губернии), он поспешил отстроить там новую прекрасную церковь вместо старой, которая стала слишком мала; иначе он не чувствовал себя вправе продать имение и тем самым уйти от своих бывших крестьян, не позаботившись о них.

Церкви были не единственной, хотя и первой, заботой дедушки. Во всех своих имениях он строил также школы и часто больницы. В Хорошем при нас освящали большую каменную школу, где, по специальному желанию дедушки, была большая зала для «народных чтений» с волшебным фонарем (кинематографа тогда еще не было).

Пожары – бедствие русских деревень, особенно в Великороссии, где избы стоят скученно, а не отделены садами, как в Малороссии. Когда такие пожары бывали в деревнях бывших дедушкиных крестьян, он неизменно оказывал погорельцам щедрую помощь, чтобы заново отстроиться. А сколько помогал дедушка отдельным крестьянам и вообще нуждающимся! Очень часто о такой помощи узнавали только стороной и случайно: у дедушки, по-евангельски, левая рука не знала, что делала правая...

Я говорил о широкой общественно-благотворительной деятельности дедушки в деревне, но это не значит, что меньшую щедрость он проявлял в городе, особенно в своей родной Москве. Дедушка очень любил Москву и в свое время был ее первым выборным «всесловным» городским головой, по Городскому положению императора Александра II. Недаром до революции несколько московских больниц и школ носили имя «Щербатовских».

Общественно-благотворительная деятельность дедушки была очень широка: у него были для этого исключительно горячее сердце и большие материальные возможности. Но пусть не думают поколения, не знавшие старой России, что дедушка был в этом отношении каким-то единичным светлым исключением. Он был, наоборот, образчиком – правда, выдающимся – того, чем всегда будет вправе гордиться наше оклеветанное старое поместное дворянство⁶. Дедушка во многом показывал путь, но по этому пути шел не он один, а многие. Нигде в Западной Европе я не видел более глубокого чувства социальной ответственности, чем то, которым были проникнуты у нас очень многие представители старого поместного дворянства. Даже совсем небогатые помещики считали своим совершенно естественным долгом – на свой счет строить церкви, народные школы и больницы.

Кажется, все наши родственники – а родственников у нас было очень много! – были помещики, и все тратили иногда значительные, по своему бюджету, средства на общественно-благотворительную деятельность в деревне. Даже самые средние помещики делали и должны были делать хоть кое-что для крестьян. К этому побуждало их не только их собственное сердце, но и семейные традиции и даже общественное мнение. Конечно, и среди русского поместного дво-

⁶ Вот что пишет о дедушке Щербатове в своих «Воспоминаниях» ученый Б.Н. Чичерин, человек большого ума и кристальной души, но известный скорее резкими отзывами о людях: «...Князь Александр Алексеевич Щербатов, человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головой при введении всесловного городского управления. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно такого человека, который способен соединить вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба – твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову».

рянства, как и повсюду, встречались негодные элементы, но, повторяю, в смысле социальной ответственности сословие это стояло исключительно высоко.

Наше воспитание

На наше воспитание и образование папá и мамá обращали самое большое внимание.

Было решено, что мы с братом будем учиться дома. Это давало два главных преимущества. В смысле воспитания – мы получали полностью благотворное влияние семейной обстановки, и влияние это не было разбавлено ничем. В области образования – домашнее учение можно было поставить лучше, чем в гимназии. Учителя, ведущие классное обучение, не могут, конечно, применяться к индивидуальности каждого ученика, что возможно в обучении домашнем. Кроме того, домашнее обучение позволяло не только следовать программам гимназического курса, но и уделять гораздо больше времени и внимания иностранным языкам. Конечно, домашнее образование требовало значительных материальных затрат, но на эту цель мои родители денег не жалели. С некоторого возраста, продолжая учиться дома, мы с братом ежегодно держали при гимназии «поверочные испытания» и переходили из класса в класс.

Однако мои отец и мать, как мне кажется, совершенно правильно решили, что если в детские годы важнее всего воспитательное значение семьи, то позднее мальчикам очень полезно окунуться в школьную «общественную» жизнь. В частности, мои родители опасались оставлять нас слишком долго в очень хорошем, но чересчур замкнутом круге наших родных и детских друзей. Они считали желательным, чтобы мы столкнулись с гимназическими товарищами из других социальных слоев, чем тот, к которому мы принадлежали по рождению. Вот почему мои родители решили лет до пятнадцати давать нам домашнее образование, а потом отдать нас – приходящими – в гимназию: именно в гимназию, а не в какое-нибудь привилегированное учебное заведение. И за то и за другое я могу быть только благодарен своим родителям.

Основные линии нашего воспитания и образования устанавливались папá и мамá совместно, но вся организация этого сложного дела лежала на одной мамá.

Самые первые уроки мамá давала нам сама. Я начал обучаться грамоте четырех лет. Позднее мамá передавала наше обучение учителям, которых она же выбирала и приглашала. При этом мамá продолжала тщательно следить за нашими уроками и, в нашем раннем возрасте, иногда на них присутствовала. Очень значительное внимание она обращала на приготовление уроков, приучая нас к большой добросовестности в этом отношении. Мамá правильно придавала огромное значение тому, чтобы мы привыкли работать самостоятельно, и систематично добивалась этого при приготовлении нами уроков. Прежде чем помочь каким-нибудь указанием или объяснением, она всегда заставляла нас стараться самим превзойти встретившуюся трудность. Когда это было необходимо, она помогала нам, но старалась делать это путем наводящих вопросов, будя нашу мысль, а не просто подсказывая решение, что ей самой было бы, конечно, проще. Образование здесь сливалось с воспитанием.

Учили нас учителя, но воспитывала нас мамá, и этой своей основной материнской обязанности она никому не передавала: гувернеры и гувернантки были ее помощниками, но она им никогда не поручала дела нашего воспитания и всегда сама во все входила.

Как мамá нас воспитывала?

Не по какой-либо «системе» воспитания, а создавая тихую и благотворную семейную атмосферу любви и стройного порядка, со всех сторон нас окружавшую. Мы дышали этой атмосферой с самого детства, и она нам казалась вполне естественной. На самом деле это была атмосфера исключительная, которой могли бы только позавидовать многие и многие семьи.

Главная основа воспитания была у мамá – религиозная. Религия была отнюдь не формальная и даже далеко не в такой мере традиционно-церковная, как бывало в прежних поколениях. «Бог есть любовь» – вот чем было проникнуто религиозное сознание мамá и, естественно, все ее воспитание нас. Даже голос мамá становился совершенно особенным, когда она читала нам в Евангелии о любви, как о первой и главнейшей заповеди Господней. Может быть,

именно вследствие этой религиозной атмосферы, которой я дышал с детства, понятие «страха Божия» сделалось мне понятным только гораздо позднее, и то больше умом, чем чувством. Мама́ прививала нам именно любовь к Богу, а не «страх Божий», который, конечно, отнюдь не противоречит любви, но относит человека к Богу как бы под другим углом зрения.

Основное духовное качество мама́ – смирение. Может быть, даже именно вследствие переизбытка в ней самой смирения. Мама́ менее прививала его нам, но покорность воле Божьей всегда и во всем она старалась нам внушить с самого раннего возраста.

Другие, скорее нравственные, чем религиозные, черты характера мама́ – душевная дисциплина и обостренное чувство долга. Дисциплина эта была в ней от природы, но она, кроме того, была сильно развита немецким воспитанием (Текличка!). Эту нравственную дисциплину и это чувство долга мама́ также стремилась внушить нам.

Мама́ сеяла в наши души только хорошие семена, но, как и в евангельской притче, не все зависит от семени, но также и от той почвы, на которую это семя падает.

Я уже говорил об исключительно хорошей атмосфере, которой Бог привел нас дышать в нашей семье с самого рождения. Но мы видели с детства любовь и хороший пример не только со стороны наших родителей. Очень большое влияние в детстве оказала на меня бабушка Трубецкая. О ней писал папа́ в своем «Из прошлого». Конечно, мы, дети, не могли до глубины понять исключительно даровитую, тонкую и одухотворенную природу бабушки, но мы безошибочно чувствовали ту тихую благодать, которую она излучала на все вокруг себя. Главное, что сохранила мне память о ней, – я не могу передать словами, это ощущение какого-то тихого, струящегося света. Оккультисты сказали бы, что я своей детской душой ощущал исключительно светлую «ауру» бабушки. В детстве, слыша слова молитвы «Свете Тихий», я вспоминал о ней. Тогда я не осознавал своей мысли, но теперь понимаю, бабушка была для меня образом «Тихого Света», – такой она осталась для меня и поныне...

Помню, как один раз – и это был единственный раз! – бабушка очень огорчила меня... при этом без всякой вины со своей стороны.

У нас в Киеве, ближе к весне, гостили дедушка и бабушка Трубецкие. Дедушку я тоже хорошо помню. Конечно, я любил его, хотя мало его знал. Дедушка Трубецкой довольно мало обращал внимания на детей. В самом раннем возрасте – это одно из первых моих воспоминаний – он сажал меня на колени и заставлял подскакивать. Потом он открывал о мой нос крышку своего золотого брегета, который тихо звонил... Когда дети немного подрастали, дедушка Трубецкой, по-видимому, уже не знал, что с ними делать: он ласково здоровался и прощался, когда мы к нему подходили, но не общался с нами...

Так вот, помню, как однажды бабушка показала мне ордена дедушки Трубецкого. Они мне очень понравились, но из них мне невероятно приглянулся орден Белого орла. Бабушка надела мне ленту через плечо и велела придерживать орден рукой, чтобы он не волочился по земле. Мне было очень жаль снимать ленту, и бабушка сказала мне, что я «потом сам его заслужу». Я неверно понял бабушку и подумал, что я могу потом получить орден в подарок от дедушки; но бабушка мне тогда объяснила, что орден нужен самому дедушке и что он должен его надеть, чтобы идти в церковь на Пасху. Я примирился с мыслью, что Белого орла я не получу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.